

ВСТРЕЧА

Неподалеку от той деревни, где я вырос, проживал шорных дел мастер Яков Безродный. Лет в ту пору ему было за сорок, а мне с натяжкой четырнадцать. Я не мог помнить, давно ли появился в наших местах Яков; но по тому, как все его хорошо знали и относились к нему с уважением, можно было судить, что он здесь жил давно. У него не было ни семьи, ни дома, ни скота, ни земли. Он был шорник-отходник, и все его имущество, состоявшее из инструмента, помещалось в кожаной сумке, сшитой из старых голенищ. С этой сумкой он странствовал по деревням, зарабатывая себе хлеб. У меня тоже не было родных: впроголодь жил я у скряги-опекуна и нередко с корзиной уходил верст за десять-пятнадцать от своей деревни собирать куски на подкорм.

Помню, я испытывал тогда чувство если не стыда, то глубокой, необъяснимой застенчивости. Мне хотелось, чтобы никто из людей, знавших меня, не мог подумать, что я начинаю свою жизнь с нищенства. И, если встречал по пути знакомых, на их расспросы отвечал неизменно: „Хожу ищу работы“, или же, показывая старые поломанные часы — наследство после смерти отца, я говорил: „Вот часы промениваю на хлеб“. Я стеснялся своего положения и не стыдился врать.

Весной в восемнадцатом году я сидел на пригорке около дороги на берегу Кубины. Любовался половодьем, плотами, плывущими вниз по течению. Солнце разгулялось по чистому небу и словно радовалось, глядя на очнувшуюся от зимней спячки землю. Стаи гусей, лебедей, уток тянулись в голубом поднебесьи на далекий север. Рядом со мной стояла под кустом корзина с „милостынями“, полная до краев, прикрытая от посторонних глаз сереньким, изношенным пиджаком. Я изредка поглядывал на корзину, точно заправский собственник на свой амбар, наполненный свежим урожаем пшеницы. Ведь по меньшей мере, — если скупо питаться, — я обеспечен на неделю.

И вот тогда на этом перепутьи встретил меня шорник Яков Безродный. На ногах у него старые болотные сапоги, за плечами вековая кожаная сумка. Он шел, опираясь на суковатый посох с острым железным наконечником, и напевал:

... Всероссийский император
Царь жандармам и шпикам,
Царь — изменник-провокактор —
Ты попался в руки к нам.

Люд, восставший за свободу,
Расщепал твой подлый трон,
Долю лучшую народу
Завоевывает он..

Яков, заметив меня, оборвал песню. Подойдя ближе, он приветливо улыбнулся, достал из кармана кисет с табаком.

— Спички есть?

— Нет.

— И не имей.

— Почему?

— Чтобы быть с огнем осторожней. Ну, скажи, куда путь держишь?— спросил он меня, усаживаясь рядом на холодную луговину.

Я немного смутился, ответил не сразу:

— Да, вот, пошел по деревням, хочу на лето в пастухи наняться...

— Доброе дело, богаче всех будешь. И коров стадо, и вся деревня тебе в долгу будет. Хорошо, ей-богу, хорошо!.. Только выбирай такую деревню, где изгороди вокруг полей крепкие, тогда не замучаешься. А что у тебя в корзине?

— Да так, разное тряпьишко,— говорю ему, а сам чувствую—покраснел и глазами уставился в землю. Яков заметил мое смущение и вероятно подумал в эту минуту, что в корзине моей таится что-либо краденое. Он, не раздумывая, поднял ее за крученное перевесло и, заглянув под пиджак, прикрывавший корзину, громко расхохотался. Его широкие костлявые плечи подрагивали в лад хохоту, глаза искрились, борода неудержно тряслась.

Я вскочил с места и с силой вырвал у него из рук корзину. Куски овсяного хлеба с колобом и какие-то серые лепешки с прошлогодней картошкой посыпались на землю.

— Чего ты зубы скалишь? Над чем смеешься? Может, это я не сам, может, это я у нищего купил?!..

Яков Безродный еще пуще засмеялся. Потом его лицо вдруг сделалось серьезным, и он начал меня поучать:

— Не ври, голубчик, никогда не ври. За правду не осудят добрые люди, а от кривды проку не будет. Не беда, что беден, будь всегда честен. И стыдиться тебе тут нечего. Вот видишь (он показал на мою корзину): отбросил стыд — стал сыт. Нужда, батенька, научит милостыньки кушать. Я вот за свою жизнь хлебнул горячего до слез, одна была песня у волка, да и ту я перенял. Двадцать пять годиков вот прожил в ваших местах, с тех пор как по царской милости был осужден...

Яков потрепал меня за вихрастые, никогда не выдавшие гребня волосы и, ласково посмотрев в упор, сказал:

— Пойдем-ка со мной на запань, там праздник. Сегодня по новому стилю первое мая—всемирный рабочий праздник. Пойдем, посмотрим, как его сплавщики справляют. Я вот два десятка верст отшагал, туда иду.

И мы с ним пошли. До запани ходьбы оставалось не больше часу. По пути мне Яков говорил о новой советской власти, о том, что мы скоро забудем нужду, не будет ни богатых, ни бедных...

Запань называлась Высоковской, вероятно потому, что на повороте Кубины один берег был высоким. Здесь стояли в не-

сколько рядов бараки лесопромышленников Рыбкина, Никуличева и Малютина. Около барачков на лесной прогалине — площадка; на ней, впервые в жизни, я увидел трибуну с гирляндами из хвои и кумачовым лозунгом. Вскоре с песнями пришли с реки рабочие и работницы — человек триста. У всех на плечах древки с баграми. Впереди несли красное знамя, — шествие мне показалось величественным, ибо я ничего подобного не видал до этого дня. С трибуны говорили о революции, о войне, о Ленине, о свободе. Говорили — точно вбивали последние железные гвозди в крышу гроба капитализму.

Я слушал первых двух ораторов с воодушевлением, но мало понимал.

И вот с трибуны объявили:

— Слово имеет шорник Яков Безродный, потерпевший за революцию.

Тут я снял шапку и так стоял с полураскрытым ртом, забыв о корзине, о насущном хлебе. Яков обвел глазами столпившихся вокруг трибуны сплавщиков, тряхнул головой и, закинув назад кожаную сумку, начал речь...

В деревнях, в долгие зимние вечера, когда он чинил нашим мужикам хомуты и седелки, я много слышал от Безродного сказок длинных, складных, веселых и страшных. Его не прискучивало слушать, и все рассказанное им прочно оседало в моей памяти.

Но как и о чем Безродный будет разговаривать с большой толпой людей, мне не приходило в голову. Он стоял выше всех — наш шорник Яков. И сплавщики слушали его, как старшего над всеми.

Досчатая трибуна скрипела под его сапогами.

Он говорил без жестов, без крикливых фраз, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. То, что он говорил, я слышал от него в тот раз впервые и до сих пор помню его речь, будто он выступал вчера:

— „Товарищи-граждане свободной России! Мы теперь хозяйева нашей страны, нашей судьбы. Раньше в этой глуши мы не знали, что значит Первое Мая. А я вам сейчас скажу.

Безродный сделал значительную паузу и голосом ровным и твердым продолжал свою речь, простую, захватывающую правдивым содержанием, о далеких пережитых им горе-горьких днях.

— ... Было это четверть века тому назад, — в 1892 году, я в ту пору служил в Лодзи... Был солдатом — казенным человеком был... Офицеры учили нас чиновничеству, козырять, глотку драть да глазами жрать начальство. Поп учил смиренню да терпению, — смирную собаку, дескать, и телята лижут. А промеж нас были такие учителя, которые поговаривали: „Отольются волкам овечьи слезки. Придет час, вырастет народ в могучую силу, расправит свою спину, и полетят вверх тормашками царь с чиновниками, богачи с приказчиками, попы с подпопками“. В том году первого мая в Лодзи тысячи рабочих вышли на улицы с красными флагами и просили у хо-

зьев прибавки жалованья. Они говорили — лучше умереть, чем неправду терпеть. Превигельство уже тогда побаивалось рабочих. Навстречу им выстроили нас — солдат, да еще прихвостней старого режима — полицию. Видим — дело худо пахнет. Пожалуй, стрелять заставят в народ. А народу тьма-тьмушая. Идут и идут, конца не видно. У нас по рядам шопот пошел. — в случае чего палить в воздух. Пусть мир за себя постоит. А если мир плюнет — море будет, мир дунет — ветер будет. Эх, думаю, им бы ружья дать, — наделали бы делов. Стал напирать народ на полицию. Та пятится. Нам офицерье команду подает: „Пли!..“ Начальство думало: у солдата по службе ни друга, ни недруга.

Уже многие вразброд тряхнули винтовками. Народ зашумел: „Братья, солдаты, опомнитесь! В кого вы хотите стрелять?!..“

Солдаты дрогнули, а некоторые сами себе, как бы непрозвольно, сказали: „отставить“, и застучали прикладами о мостовые.

Офицерье взбесилось. Стреляла только полиция. Было убито тридцать шесть рабочих, да около четырехсот в тюрьму посадили в одной Лодзи.

В этом числе и я попал, за одно слово — „отставить“... И отсидел три года. Был еще выслан сюда на Север и нашел себе здесь вторую родину, хотя и значусь я по паспорту Безродным...

Он говорил долго, живо и вразумительно. Я дивился: откуда при народе у него столько слов берется? Дивился тайне могущества, скрытого в нем, в простом шорнике Якове Безродном.